

МАША ТРАУБ



Всегда кто-то
платит

Маша Трауб

Всегда кто-то платит

«ЭКСМО»

2017

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Трауб М.

Всегда кто-то платит / М. Трауб — «Эксмо», 2017

ISBN 978-5-04-088958-7

Четыре женщины, чьи судьбы связаны одним мужчиной. Чужие, посторонние люди, слишком разные, чтобы их объединило даже общее горе. И главный для них вопрос – кто виноват в этом горе и кто будет платить по счетам? Потому что всегда кто-нибудь платит. Маша Трауб

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-088958-7

© Трауб М., 2017
© Эксмо, 2017

Содержание

Ксения	6
Елена	27
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Маша Трауб

Всегда кто-то платит

© Трауб М., 2017

© ООО «Издательство «Э», 2017

Ксения

Наверное, она его любила. Не знаю. Мне было семнадцать, когда мама вышла замуж, и, если честно, мне было наплевать. У меня давно была своя жизнь. Даже дома я не замечала изменений и плохо помню то время. Обрывками, отрывками, деталями. Наверное, в этом заключается мое счастье и спасение – я плохо все помню. Даже лица и имена. У меня избирательная и короткая память. Так было и в раннем детстве, и в школе. Кто-то помнит, за какой партой сидел, как звали лучшую подружку, телефон первого мальчика – любви всей жизни. Мама считала, что я – форменная эгоистка, раз даже дату ее дня рождения забываю. Так что я стеснялась признаваться в том, что у меня есть такая особенность, считая это проявлением эгоизма.

Мне бы все равно никто не поверил, если бы я призналась, – тщетно пытаюсь запомнить имя незнакомого человека, я спокойно выучивала наизусть огромные куски прозы. В школе мне ставили двойки за изложения – учительница считала, что я списываю. А я запоминала текст дословно, включая знаки препинания. Научилась маскироваться и всячески скрывать, что мне досталась такая избирательная память. Меня считали очень вежливой девочкой – я всегда со всеми здоровалась несколько раз в день, казалась приветливой. Никому и в голову не приходило, что я просто не помню – виделась я с этим человеком или нет. Если я не звонила мальчику – первой любви, – он страдал, считая меня недоступной и бессердечной. А я была бы рада позвонить, но не помнила номер. Завела записную книжку, но и это не помогло – я фиксировала номера, имена, но не могла вспомнить, кто это.

Сейчас мне кажется, что это была защитная реакция детского организма, который стирал неприятные воспоминания. Но тогда мои память и невозможность признаться в собственных странностях доставляли мне массу неприятностей. Мама обижалась. Подруг у меня, можно сказать, не было – они тоже все были обидчивые. Первый мальчик – любовь всей жизни – переключился на мою подружку, поскольку не мог дождаться от меня звонка. Позже, уже в институте, у меня появилась подруга Оля, которая все всегда помнила. И я стала жить ее памятью. Она не знала, что у меня есть проблемы, но спокойно и размеренно напоминала: это же Катя, она учится во второй академической группе, мы с ней ходили в кино на прошлой неделе. Или: это аспирант, он вел у нас семинар. Я была благодарна подруге за сухие дельные комментарии. За ее память, которой хватало на двоих. А еще за то, что Оля считала меня нормальной, просто «невнимательной». И ей не составляло труда напоминать мне о важных вещах – как зовут преподавателя, какого числа нужно кого-то поздравить.

Я пыталась запечатлеть в памяти лица, цепляясь за яркие приметы, и отмечать характерные особенности внешности. Но стоило преподавательнице сменить цвет волос и прическу, по которой я ее опознавала, она становилась для меня незнакомым человеком. Парень, который был влюблен в меня на первом курсе, меня бросил. И больше со мной не разговаривал. Я не могла ему объяснить, что не виновата. Мы не виделись три месяца. Он так растолстел, что я его не узнала и прошла мимо. Когда он ко мне подошел, я вежливо поздоровалась и так же вежливо и приветливо улыбнулась. Он счел это издевательством, обиделся и быстро нашел мне замену. Но в разрыве была виновата я, потому что его «отшила».

– Оля, это кто? – спросила я подругу.

– Дима. Ты его бросила и теперь он с Дашей. Даша учится на экономическом, – как всегда деловито выдала информацию Оля.

– Я его не узнала, – призналась я.

– Ничего удивительного. Я его сама не сразу узнала, – спокойно ответила Оля, за что я ей была благодарна.

Я начала вести дневник – каждый день записывала события минувшего дня. И каждое утро прочитывала собственные записи. Это помогало, но не сильно. Я могла в мельчайших подробностях описывать восхитительную брошку преподавательницы, но, если преподавательница меняла украшения, я ее не узнавала.

С годами я научилась жить с этим свойством памяти, справляться. Научилась запоминать. Но тот период все равно помню плохо.

– Кто это? – спрашивала я Олю, которая долгие годы оставалась моей лучшей подругой. И с ее памятью по-прежнему было все в порядке.

– Это наша однокурсница. Сидела всегда справа во втором ряду. Она вышла замуж на втором курсе, на третьем развелась. Ты с ней была в одной группе. Она приносила фотографии ребенка. Мальчик. Назвали Кириллом. Мужа звали Тимофеем. Потом она снова вышла замуж.

Я всматривалась в женщину, которая сидела в дальнем конце стола на встрече однокурсников, и не помнила ее совершенно. Блондинка, самая обычная, слегка одутловатая и придурковатая. Резкий, раздражающий голос. Я ее не помнила. Но приветливо улыбалась на всякий случай. Я умела приветливо улыбаться.

Почему я об этом рассказываю? Чтобы объяснить свои последующие действия. Я вела себя так, как подсказывала или, скорее, не подсказывала мне память.

Кстати, благодаря столь своеобразному заболеванию, я быстро нашла работу. Да, на работу я вышла рано. Пришлось. Моя мама считала, что я давно повзрослела. Она и в детстве разговаривала со мной как со взрослой. И удивлялась, что я прошу на Новый год куклу или плюшевого медведя. Маму я очень любила, поэтому не хотела ее расстраивать. Чтобы завоевать мамину симпатию или даже восхищение, я читала книги не по возрасту, в которых не понимала ни строчки. И варила себе суп в том возрасте, когда родители вообще-то еще должны волноваться – не обожжется ли ребенок.

Так вот на работу я устроилась на первом курсе института, соврав, что учусь на третьем. Не потому, что так мечтала о взрослой жизни и самостоятельности. Больше всего на свете я мечтала о заботе – о горячих завтраках, которые готовила бы мама, и проводах меня в институт на лекцию. А потом – о веселых посиделках с друзьями, поездках не пойми куда и новом платье.

Вообще удивительно, что я поступила в институт. Школьного выпускного у меня не было. Ни на какие курсы я не ходила, с репетиторами не занималась. Мама вряд ли заметила, что я окончила школу – вопроса про оценки в аттестате она не задавала. Кем хотела стать, я тоже не знала – никто меня об этом не спрашивал. Аттестат у меня был, кстати, нормальный – без троек, но и без блеска. Твердая незаметная хорошистка. Амбиций – ноль. Нет, один раз мама все-таки удивилась: когда я уже три дня сидела дома и никуда не выходила.

– Тебе разве никуда не нужно идти? – спросила мама. Прежде чем произнести «никуда», она запнулась. Куда? Куда ходит ее дочь? В школу? Не в школу? Но куда-то ведь ходит каждый день.

И я решила, что не буду волновать маму. Раз она привыкла к тому, что я куда-то хожу, значит, буду ходить. Моя соседка по парте Даша поступала на исторический, так что я особо не мучилась с выбором факультета. Дашка, узнав, что я хочу поступать вместе с ней, истерически закричала от радости.

Кстати, она-таки не поступила и от обиды перестала со мной общаться. Почему поступила я? Не знаю. Наверное, потому что совсем не нервничала. Мне было все равно. Я сдавала экзамены спокойно, даже с легким, совершенно искренним равнодушием. Экзаменаторы, наверное, подумали, что я знаю больше, чем хочу показать. И мое равнодушие было расценено как уверенность в собственных знаниях. Плюс моя дурацкая память. Я не могла запомнить мамин день рождения, но ничего не значащие для меня даты отлетали от зубов. Я поразила преподавателей знанием дат. Смешно, конечно.

Жизнь опять пошла своим чередом – я уходила по утрам в институт, и мама, наверное, была довольна.

Я все время пишу «наверное», потому что точно ничего не могу сказать. Мне так кажется, я так думаю. Но так ли это на самом деле – не знаю.

– Мам, мне нужны деньги, – попросила я как-то. Обычно деньги лежали в тумбочке в коридоре. Ящик был кошельком. Оттуда можно было взять деньги на хлеб, на еду и на все остальное. Мама никогда не спрашивала, куда делся рубль. Она вообще не помнила, сколько в тумбочке лежало денег. И никогда бы не стала их пересчитывать или сверяться с чеками. Впрочем, в этом и не было необходимости – я оказалась прижимистой девочкой, даже жадноватой. И лишнюю копейку на конфеты ни за что не потратила бы. Раз в неделю я могла купить себе пирожное или мороженое, но понимала, что коробка фломастеров нужнее. И листы для черчения тоже нужнее. Сколько денег в тумбочке, я знала до копейки. Поскольку поступления были нерегулярными, я бы даже сказала спонтанными, мне пришлось научиться экономить и рассчитывать. Иногда мама могла бросить в тумбочку крупную купюру. А иногда приходилось выгребать мелочь, шаря по дну ящика в надежде найти закатившуюся в дальний угол монетку.

В один прекрасный день я открыла ящик и испугалась – денег не было вообще. Ни копейки. Ни одной монетки. Мне и правда стало страшно. Я даже подумала, что это я виновата – потратила и не заметила, что забрала все деньги. Но поскольку со мной такого никогда не случалось, то я решила, что, возможно, это случилось со мной во сне. Бывают же лунатики, которые ходят по ночам, а утром ничего не помнят. Может, я тоже лунатик? Поскольку я опять же знала за собой только один недуг – странную память, то я не придумала ничего лучше, чем пойти к маме.

– Мам, мне нужны деньги, – попросила я.

– Деньги? Разве ты не работаешь? – искренне удивилась она.

Тут я подумала, что моя болезнь – наследственная. Наверное, у моей мамы тоже такие особенности памяти, раз она не помнит, что мне всего семнадцать лет и я только что поступила в институт. Может, она и меня не помнит? Да, она иногда словно недоумевала, видя меня по утрам на кухне. Будто наткнулась на незнакомого человека, который пьет чай из ее чашки. Тогда я решила, что это проявление болезни и мне действительно пора искать работу.

В силу моего возраста, дневного обучения и отсутствия всякого опыта и трудового стажа, а также отсутствия связей и влиятельных родственников, которые могли бы попросить «за девочку», найти работу было не так-то легко. Я могла претендовать разве что на место помощника второго помощника главного помощника руководителя или третьей секретарши. Впрочем, я была согласна на любую работу, но во второй половине дня. И чтобы мне платили хоть какие-то деньги. Желательно два раза в месяц – аванс и зарплата. Тогда бы мне было проще рассчитать свой прожиточный минимум.

Я сидела в очередной конторе, ожидая собеседования, и гадала – куда же все-таки исчезли из тумбочки деньги? Я уже понимала, что работу мне найти в общем-то не светит и проще разгадать загадку тумбочки. Ведь это странно – столько лет деньги лежат в одном и том же месте и вдруг исчезают. Каждое утро я открывала ящик в надежде, что там появятся деньги, что все будет как прежде. Я даже зажмуривалась на секунду, но нет – чуда не случилось – ящик оставался пустым. Почему мне не пришло в голову спросить у мамы? Мол, вот всегда деньги лежали в ящике, а вдруг исчезли. Почему? А снова появятся? Мне не приходило в голову сказать маме и о том, что деньги нужны на учебники, тетради, ручки. Почему? Я ведь ей даже не сказала, что поступила в институт. А маме не приходило в голову спросить, не нужно ли мне чего-то и чем я занимаюсь целыми днями.

Да, у нас с мамой были странные взаимоотношения. Но тогда я так не считала. Даже когда увидела, как родители, да еще и бабушки приезжали на экзамены к своим детям и внукам. Родственники стояли или сидели на лавочках во дворе перед зданием института и вол-

новались. Меня тогда это просто потрясло. Столько их. Они нервничали, переживали. Мамы перекладывали бутерброды. Беспокоились, не забыли ли термос с чаем. С Олей я так и познакомилась – ее мама выдала мне бутерброд. Из вежливости я, конечно, отказалась, но она просто заставила меня его съесть. Мне было приятно. Олину маму я запомнила на всю жизнь, так остаются в памяти самые лучшие, самые счастливые моменты. У нее была шикарная прическа. Удивительный пучок на затылке. Мне очень понравились пучок и гребень, воткнутый для красоты. Гребень я запомнила очень хорошо.

Но даже тогда я не заметила, что у нас с мамой что-то не так. Я тогда вообще не думала о том, как должно быть. Что считать правильным, а что неправильным. Что хорошо, а что плохо. Меня больше волновал ящик тумбочки, из которого исчезли деньги. И почему вдруг мама стала такая странная – она жила глазами внутрь.

Такое свойство я замечала у беременных женщин, которые встречались мне на детских площадках, в магазинах, в общественном транспорте. Меня это просто завораживало. Я с легкостью могла определить – беременна женщина или нет. Они все были глазами внутрь. У мам маленьких детей тоже было странное «зрение» – они смотрели только в одну сторону. Узкий угол обзора. Кроме своего ребенка, они ничего вокруг не видели и не замечали. Но тогда я еще не знала, что и влюбленные женщины тоже смотрят внутрь. И у них тоже узкий угол обзора. Мама меня не видела. Она видела только себя. И была словно не со мной. Тумбочку она тоже уже не видела.

Я сидела на стуле в коридоре, плохо понимая, чем занимается контора, в которую я пришла. Наконец меня вызвала неприятная женщина – директор по кадрам, вяло посмотрела в документы, услышала про мое обучение на дневном отделении, про мою ответственность и готовность выполнять любую работу и сказала: «Нет, спасибо, нам нужен человек на полную занятость». Впрочем, я не сильно расстроилась, поскольку иного не ожидала. Выйдя в коридор, увидела сидящего на диване в приемной мужчину. Лицо показалось мне очень знакомым. Просто до ужаса знакомым. Я даже рот раскрыла от изумления. Обычно моя память не преподносит мне таких подарков. А тут я точно знала, что уже когда-то видела этого мужчину. Поэтому я приветливо улыбнулась и вежливо поздоровалась. Мужчина ответил. Поскольку я была уверена, что разговариваю со знакомым человеком, улыбнулась еще раз.

– Ты что тут делаешь? – спросил мужчина.

– Пыталась на работу устроиться, не взяли, – бойко отрапортовала я, как близкому знакомому. И даже подумала, что начала избавляться от неизлечимой болезни: чем дольше я смотрела на мужчину, тем крепче была уверенность, что я его уже видела где-то и не раз.

– Молодец, – ответил мужчина.

– До свидания, – вежливо попрощалась я.

Я пошла к выходу и, если честно, была сильно удивлена, когда на следующий день мне позвонила начальник отдела кадров и сказала, что я принята на должность помощницы.

Конечно, я не могла знать, что кадровичка наблюдала за моим разговором с незнакомцем. Разу-меется, я не заметила, как открылась дверь генерального директора фирмы и он начал обниматься с моим собеседником, словно тот был почетным гостем. И, естественно, не слышала, о чем они говорили.

– А чего девочку не взяли? – спросил мужчина-гость.

– Какую девочку?

– Да вот тут сидела. Не помню, как ее зовут. Подружка моей Катки. Хорошая девочка, работу ищет. А моя только деньги клянчит на гулянки и на шмотки. Ты ее возьми.

– Возьму, конечно, – пообещал генеральный директор и тут же вызвал на ковер кадровичку.

Кем был этот мужчина – я не знаю. Возможно, моя дурацкая память сыграла со мной злую шутку, подсказав в его лице знакомые черты. Или мне так хотелось найти работу, я так сильно мечтала о человеке, который бы мне помог, что он материализовался.

Итак, я начала работать: после института бежала в офис, разносила бумаги, делала бесконечные копии, варила кофе. Моей начальницей стала Инна – главная помощница генерального. Сейчас я понимаю, что ей было под тридцать, но тогда она мне казалась очень взрослой, очень мудрой и очень красивой.

У Инны была своя «болезнь» – до четырех она еще держалась, но потом начинала пить. Пила она в меру, но каждый день. Все мои предшественники с Инной работать не могли – она становилась злой и придирчивой. Все мои предшественники мечтали занять ее место, подсесть, и сплетничали. Но у Инны был давний роман с генеральным, поэтому злопыхатели быстро лишались работы.

Если бы я была постарше и понаблюдательней, я бы, наверное, тоже заметила, что, когда Инна выпивает, она вдруг становится злой и путает бумаги. Но я ничего этого не замечала. Даже романа с генеральным. У меня были свои радости – аванс плюс зарплата, горячий бесплатный обед и иногда даже ужин. Я посчитала доходы и расходы и поняла, что смогу прожить. Опять же моя врожденная, я бы даже сказала, маниакальная страсть к порядку тоже сослужила хорошую службу. Когда я поняла, что можно заказывать любые файлики, канцелярские товары и прочую белиберду бесплатно, то все разложила по папочкам. Инна уходила в четыре, а утром ее ждал идеальный стол: документы были разложены, подписи получены, список важных звонков лежал на видном месте. Начальница же выбила мне не полставки, а полную и я, если честно, даже расстроилась, не зная, на что потратить деньги.

Получив первую большую зарплату, я положила ее в общий ящик, но быстро вынула, решив, что они пропадут, как и предыдущие, и завела себе собственный ящик в своей комнате, куда складывала деньги. Я не умела знакомиться, потому что боялась попасть впросак – вдруг забуду имя или лицо нового знакомого. Я не курила, поэтому не сплетничала в курилке. Я просто работала. Меня считали странной, протеже важного человека и не трогали. Так что мне было хорошо на работе. По вечерам оставалось время на подготовку к семинарам. И я могла в любой момент распечатать лекции. На работе я задерживалась сознательно. Но не чтобы выслужиться, а чтобы поесть. Кухней заведовала тетя Надя и остатки обеда оставляла в холодильнике. Я ужинала и могла не завтракать – до обеда мне хватало. Хотя в институте я стала ходить в кафе и пить кофе. Мне нравилось, что я могу себе позволить пить кофе. Зарплату я складывала в тумбочку и мечтала о том, как и на что ее потрачу. Копить у меня получалось лучше, чем тратить – планы менялись каждый вечер, один грандиознее другого. То я собиралась поехать на море, то купить себе платье, то сделать ремонт в своей комнате и купить новую кровать, то еще что-то. Оля опять мне помогла. Если она покупала тушь, то и я покупала тушь. Если она ехала в магазин за юбкой, то я тоже ехала в магазин за юбкой. Сама бы до этого не додумалась.

Как-то я ей рассказала, что Инна переобувается на работе, и Оля повезла меня покупать туфли. Теперь я тоже ходила на каблуках. Училась я хорошо. Но ничего не помню из того времени. Что-то сдавала, приходила вовремя. Студенческая жизнь? У меня ее не было. Я не волновалась, не тряслась перед экзаменами. Шла всегда в первой пятерке, чтобы успеть на работу. Как-то до ночи просидела над документами – Инна доверила мне составить отчет, а утром поехала на экзамен. Оля потом рассказывала, что я первая сдала и уехала. Все получили тройки, а я – одна со всего курса – отлично. Честно, я этого не помню. Хотя хотелось бы. Мне было бы приятно жить с таким воспоминанием.

Память больше не выдавала мне подарков и подсказок. Я по-прежнему приветливо всем улыбалась, но не могла описать внешность генерального. Зато я всегда помнила, где и что должно стоять, лежать. Где висит та или иная картина. В каких туфлях ходит кадровичка, а в

каких Инна. Какого цвета подставка для ручек и карандашей и какой расцветки папки стоят в бухгалтерии. Я помнила, что в бухгалтерии на окне – кактус, а у кадровички – фикус. Любые изменения в обстановке вводили меня в ступор.

Тетя Надя впервые направила мою память в другое русло. Она оставалась вечером, делая заготовки на утро. Я ужинала. Она вытирала руки полотенцем и смотрела, как я ем.

– Не москвичка? – спросила как-то тетя Надя.

– Москвичка, – ответила я.

– Дома проблемы?

– Да нет вроде бы.

– С кем живешь? Никто не болеет?

– Живу с мамой. Вроде никто.

Я отвечала, потому что не хотела лишиться ужинов. Обычно я отмалчивалась, когда мне задавали подобные вопросы.

– А отец?

– Нет. Никогда не было.

– Значит, новый мужчина появился?

Тут я чуть куском не подавилась. Почему тетя Надя так подумала? С чего вдруг?

– Почему вы так решили? – уточнила я.

– Да ты вроде как бездомная. – Тетя Надя начала всхлипывать. – Я же вижу, что голодная ходишь. А если мать есть, то кому она готовит? Ты ж допоздна здесь торчишь, значит, не хочешь домой возвращаться. Вот и думай. А че думать? Всегда одно и то же.

– У мамы нет мужчины.

– Значит, она тебе не сказала еще. Скажет. Ты это, если он приставать начнет, сразу в милицию иди. Поняла? Не терпи... Ох, бедная ты, бедная. Мужики никогда не уходят, пока дети маленькие. А когда взрослые, так вроде как можно. А я так считаю – лучше уйди, пока дите еще младенец. Ничего не помнит. Когда вырастет – хуже будет, не простит. От меня муж ушел, когда сыну четырнадцать исполнилось. А дочке – десять. Все скандалы слышали, все понимали. Сын на мою сторону встал, а дочка с отцом общается. Меня винит, что отец ушел. Вот и что? Лучше бы ушел, когда маленькие были. Так бы при мне дети остались. А сейчас я вроде как с сыном, но без дочери. Ты это, доедай. Хочешь, у меня пирожок с курагой остался? И лучше уйди из дома – там тебе места не будет.

– Это мой дом.

– Ох, ты ж еще такая маленькая... за тобой же глаз до глаз нужен... – Тетя Надя заплакала. Наверное, свою дочь вспомнила.

После этого разговора с поварихой я пришла домой и посмотрела на свою квартиру другими глазами. До сих пор не могу понять, как не заметила этого раньше? Что я помню? Мужскую шляпу, которая появилась на вешалке в прихожей. Такая тирольская шляпка с пером. Я долго стояла в прихожей и тарасилась на эту шляпу. Мне она показалась смешной. И вот нет чтобы пойти и спросить у мамы, откуда у нас такая шляпа. Я поудивлялась и пошла в свою комнату. Потом я заметила след от ножа на сковородке, которого раньше не было. Как будто кто-то скреб дно ножом. А я всегда была чувствительна к сколам на посуде, царапинам и трещинам. Все нестыковки на обоях я могла нарисовать по памяти. Все трещины и царапины на письменном столе знала наперечет. В какой из книг загиб страницы и какой именно страницы, я тоже помнила. Где какой стул шатается, где пятно на диване, где картину перевешивали – могла ответить с ходу. Не только дома, но и на работе.

Инна даже хохотала. Она говорила, что мне нужно не над ксероксом стоять, а возглавлять хозяйственный отдел. Она устроила мне экзамен, и я честно ответила, где что не так. Где пыль, где не пыль. В каком отделе ручек не хватает, а в каком их в избытке. Я знала про все дыры в ламинате. Инна отнесла мой отчет генеральному, и мне выписали премию. То, что со мной

перестали разговаривать кадровичка и хозяйственник, я не заметила. Я по-прежнему приветливо всем улыбалась. Я просто не помнила, как они выглядели. Инну я опознавала по туфлям, а генерального – по галстукам. Я выучила все его галстуки. Он считал меня очень скромной, потому что я всегда таращилась ему в грудь. Вряд ли он мог предположить, что я в этот момент вспоминаю, с кем разговариваю.

В институте проблем с моей памятью было все меньше и меньше. Преподаватели часто менялись, не запоминая студентов, а я всегда сидела на одном и том же месте, за что получала «автомат».

Впрочем, я была достаточно блеклой, ничем не примечательной девушкой, со средними внешними данными и без особых примет. А такие студентки часто получают «автоматы».

Ни появление тирольской шапки в прихожей, ни новые царапины на сковороде не заставили меня задуматься о том, что в моем собственном доме происходят изменения. Я уходила рано утром и приходила поздно вечером. Каждое утро я проверяла сначала ящик в прихожей, убеждаясь, что там деньги так и не появились, и свою собственную тумбочку, в которой деньги лежали. Но отчего-то у меня появился страх, поэтому каждый вечер я перекладывала деньги в новое место – под матрас, под ковер, в книгу, в учебник и снова в ящик.

Вечером я вернулась с работы, легла спать. И вдруг поняла, что в комнате произошли изменения. Появилось то, чего раньше не было. Я подскочила на кровати и уставилась на дверь шкафа. На вешалке висело платье – серебристое, сверкающее, в пол.

У меня чуть сердце не выпрыгнуло. Я решила, что мама взяла деньги из тумбочки, чтобы сделать мне сюрприз и подарить платье. Именно такое, о котором я мечтала – красивое до одури, роскошное, в котором не пойми куда можно пойти. Я вскочила и приложила платье к себе. Платье было велико на четыре размера. Это не мое платье. Не для меня. Тогда для кого? Я легла спать, надеясь, что моя дурацкая память сотрет это воспоминание. И утром все будет как прежде.

Но утром меня ждал очередной удар. Поскольку я всегда уходила раньше мамы, то привыкла, что ванная свободна. Сегодня дверь была заперта. Я подергала ручку. Вернулась в комнату и села на кровать. Как может быть заперта ванная? Кто ее запер? Мама? Она так рано не встает. Я сидела и прислушивалась к звукам. Наконец хлопнула дверь. Но я еще немного посидела, не знаю зачем.

Потом пошла в ванную, приняла душ, оделась и зачем-то зашла на кухню. Там у плиты стоял мужчина и скреб по сковороде ножом. Вот тоже странно. Нет чтобы спросить, кто вы и почему скребете ножом, или позвать маму. Но я всегда была странной, так что с чего бы мне вести себя нормально? Я ушла, аккуратно, почти беззвучно закрыв дверь. Вечером на работе я не только поужинала, но еще и сделала всю завтрашнюю работу Инны. Я бы сделала еще и послезавтрашнюю, но надо было возвращаться домой. Так я устроена. Мне нужно было ночевать дома. Я даже у Оли ни разу не оставалась, хотя она предлагала. И ни в каких вечеринках не участвовала до утра. Мне нужна была своя постель, своя подушка и своя пижама.

Я вернулась домой и уже на лестничной площадке почувствовала, что что-то не так. В коридоре пахло то ли пирогом, то ли какой другой выпечкой. В слабой надежде я себя успокоила, что это соседка встала к духовке. Я сунула ключ в дверь. Тут меня ждал еще один удар. Я бы сказала, сокрушительный. Ключ в замке не повернулся. Дверь была заперта изнутри, что означало одно – я должна позвонить. Звонок никогда не работал, о чем я прекрасно знала. Но я продолжала давить на кнопку. Потом еще раз поелозила ключом в замочной скважине и еще раз надавила на звонок. Сил никаких не осталось. Я села на лестницу и стала размышлять, что же все это значит. Ну, казалось бы, ерунда – мама могла запереть дверь, все запирают двери. Звонок не работает, можно постучать, какие проблемы? Но для меня это была *проблема!* Мама никогда, ни при каких обстоятельствах не закрывала изнутри дверь. Даже на ночь. Даже когда ограбили квартиру соседей. Замок был сломан раз и навсегда и не был починен, поскольку

в этом не было необходимости. Как раз потому, что дверь никогда не запиралась. Закрытая дверь означала только одно – ее заперли изнутри, поэтому я не могла открыть ее снаружи. Это говорило о том, что мама дома, но что-то изменилось. Произошла катастрофа. Сначала пропали деньги из тумбочки, потом дверь оказалась запертой. И эти два факта ударили по моей психике сильнее, чем появление в доме незнакомого мужчины. Если бы деньги находились на прежнем месте, а дверь была бы привычно открыта, я даже думать не стала об этом мужчине.

Если бы я могла куда-нибудь уехать в тот момент – уехала бы. Но мне было важно попасть в свою комнату. Поэтому я постучалась, как стучалась в кабинет генерального директора – аккуратно. Дверь открыла мама, которая оказалась в том самом серебристом платье в пол. Выглядела она странно – платье ей совсем не шло. Мама у меня низкорослая, худая, даже болезненно тощая, а платье было рассчитано на длинные ноги, уходящие в подмышки. И на фигуру, подразумевающую грудь, талию и попу. Чтобы все обтягивало. И грудь непременно вываливалась из глубокого декольте. Как у Инны.

Вот Инне бы это платье подошло идеально. Пока думала о платье, мама взяла меня за руку и торжественно провела на кухню, где был накрыт праздничный стол.

Про это надо отдельно сказать. Меня всегда удивляла планировка нашей квартиры. Кухня нам досталась крошечная, просто микроскопическая, куда едва помещались стол и две табуретки – нам с мамой хватало. Поскольку гостей в нашем доме не бывало, то не бывало и стола, который бы раздвигался к их приходу в большой комнате. Большой, конечно, по сравнению с моей, считавшейся маленькой. Хотя обе комнаты были маленькими. В нашей квартире все было несуразное. То маленькое, то огромное. Как, например, мой письменный стол, который занимал половину комнаты. Или мамино кресло, втиснутое в угол. Ни мне, ни маме не требовалась мебель таких гигантских размеров, но я никогда не спрашивала, откуда она у нас появилась и почему мама купила именно это кресло, дикого, не существующего в природе синего цвета. Или почему мой рабочий стол превосходил размерами мою кровать. Проще было устроиться спать на столе, чем на моем односпальном ложе.

Праздничный стол – это, конечно, сильно сказано. Мама никогда не умела готовить. И все, что она пыталась сделать, было несъедобным. Она любила сложные блюда, как, например, помидоры, фаршированные сыром, рулеты из ветчины, салат, в котором грибы соседствовали со свежими овощами, отварной курицей и консервированным зеленым горошком. Майонез мама заменяла сметаной и долго стояла над салатом, добавляя то соль, то лимонный сок, то чеснок. Есть это было невозможно в принципе. Или жульен – еще одно мамино коронное блюдо. Жульен готовился в большой кастрюле, за неимением специальных кокотниц. Каждый раз получалась вязкая гадость. Но у мамы было одно свойство – ей все было вкусно. Она проговаривала блюдо собственного сочинения, и ей нравилось, она ела с аппетитом. Я же едва могла проглотить кусок. Уж не говорю о том, что у нас были совершенно разные вкусовые предпочтения – мама обожала грибы, кисло-сладкую маринованную капусту, острую корейскую морковь и фасоль из банки. Я же ничего из этого не ела. Мама любила солянку и билась над ее приготовлением, экспериментируя с копченой колбасой и солеными огурцами. Меня воротило от одного запаха. Мама любила печень и холодец. Слава богу, что она не готовила ни то, ни другое – покупала в кулинарии. Я всегда была болезненно худой только потому, что сидела на вынужденной диете. Поскольку мама не умела варить даже кашу, хотя пыталась и даже старалась, я привыкла к овсянке, залитой кипятком. Пустой бульон был для меня вкуснее всего на свете, как и простой кусок отварного мяса. При этом считалось, что я очень непритязательна в еде, не чувствую разно-образия вкусов и не в состоянии оценить сложный соус. Ах, если бы это было правдой! На самом деле с точностью до наоборот: я лучше бы умерла с голоду, чем съела то, что мне не нравится на цвет и на вид. Если честно, я всегда ходила голодной. Всегда, сколько себя помню. Мама была убеждена в том, что я капризная. Да не была я капризной. Я просто хотела есть! Очень!

На сей раз мама практиковалась в приготовлении капустного пирога. Я гадала, что хуже – вид пирога или его вкус. Но качество пирога быстро стало для меня не столь значимым. Я сидела на диване в считавшейся большой комнате, в которой вдруг оказался стол из кухни. Вид у меня был не самый доброжелательный. Почему кухонный стол стоит в большой комнате? Что случилось? Я не любила, когда мебель покидает свои привычные места. Тем более таким странным способом. Нелепым и глупым. Мама что-то щебетала про прекрасный капустный пирог, который ей удался как нельзя лучше, и шмякнула мне на тарелку кусок. Я откусила и засунула все, что откусила за щеку, как делала это в детстве, чтобы при первом подходящем случае выплюнуть в мусорное ведро. Пирог был сухой, подгоревший и кислый.

– Ну, привет, Ксюха, – услышала я мужской голос.

Он все это время находился на кухне, но я старалась об этом не думать, хотя слышала непривычные звуки, доносящиеся оттуда. Я видела платье, пирог, бутылку вина на столе, пятно на скатерти. О господи, мама достала старую скатерть, которая годами лежала на самой дальней полке шкафа! Не то чтобы скатерть была очень ценной, но она была единственной «парадной», для «особых случаев». И тут до меня, наконец, дошло, что тот «особый случай» происходит сейчас. В эту самую минуту. Я дернулась и выплюнула кусок пирога на тарелку. Конечно, я могла потерпеть, но меня чуть не стошнило. *Ксюха*. Меня никто никогда не называл *Ксюхой*. Только Ксенией. Я всегда, с самого детства, была Ксенией. Иногда мама называла меня Ксюшей. Очень редко знакомые обращались ко мне так же. Но никогда никто не звал меня Ксюхой.

– Ксения, – промямлила я.

– А это – Анатолий Петрович. – Мама повела рукой так, будто сидела в собственной бальной зале. – Мы сегодня поженились.

– Поздравляю, – на автомате пробормотала я.

– Толяша, съешь еще кусочек, – прошептала мама.

И меня вырвало. Правда, я едва успела добежать до ванной. От Толяши. Не от его вида, а от того, как мама его назвала.

– Не пойми что она ест и где. Наверняка какую-нибудь гадость, – услышала я.

Мне было плохо. Я не только память потеряла, но и дар речи. Я ем гадость? Да откуда она знает, что я ем? Да если бы не работа и бесплатные обеды и ужины, я бы вообще подохла с голоду. Гадость – это мамин пирог, ее фаршированные помидоры и жульен. Как, впрочем, и солянка, и каша, и макароны, и... могла бы долго перечислять, но меня опять вырвало.

Я пошла в комнату и закрыла за собой дверь. Поскольку слышимость в нашей квартире была не просто прекрасная, а лучше не бывает, я не могла уснуть или хотя бы отключиться. Мама бегала на кухню, они с Толяшей чокались бокалами с вином, целовались. Потом Толяша пошел в ванную, а мама разобрала диван и хлопнула дверцей шкафа, чтобы достать постельное белье. Потом Толяша хрипел, а мама вскрикивала. Будь моя воля, я бы запретила людям жить в квартирах с такими тонкими стенами. Я бы запретила им разговаривать, потому что каждый звук слышался в соседней комнате. Я считаю, что большие квартиры – не роскошь, а возможность сохранить психическое здоровье. Нельзя жить, слыша, как чужой мужчина моется в ванной. Нельзя спать, слыша, что происходит за стенкой. Нельзя, понимаете, невозможно!

Что происходило дальше, я плохо помню. Точнее, почти вообще ничего не помню. Мы стали жить втроем. Я рано уходила – спасибо институту, и поздно приходила – спасибо работе. Но Толяша прочно вошел в нашу жизнь, хотя я надеялась, что он исчезнет, как морок, как тяжелый дневной сон. С Толяшей в нашей кухне завелись новые продукты – баранки, чай, вафли, колбаса сервелат. То, что ни я, ни даже моя неразборчивая в еде и, как выяснилось, в выборе мужа мама никогда не ели. У мамы появился новый халат, который висел в ванной, а моя зубная щетка переместилась на бордюр ванной, чтобы уступить место в подстаканнике бритве Толяши.

Мама менялась так же быстро, как квартира. Она стала говорить как Толяша, его интонациями, его словами. Она стала – как бы это сказать – простоватой, мелковатой, туповатой. Я не знала, как такое возможно. И поговорить мне было не с кем, поскольку друзей у меня не было. Оля и Инна – не в счет. Оля как была, так и оставалась моей памятью, Инна – начальницей. Я не считала, что могу требовать от них большего.

Мама. Она всегда была странной – нежной, неприспособленной к хозяйству, чудаковатой. Она была по-своему интересной женщиной. Поскольку мы с мамой не были близки, я могла смотреть на нее как на постороннюю и некоторые качества меня в ней удивляли и даже восхищали.

Надо начать с того, что все ее называли Лелечка. Мама числилась научным сотрудником в НИИ и мечтала о том, чтобы о ней уже забыли. Я все гадала – что же должен исследовать этот институт, раз там числятся такие научные сотрудники, как моя мама. На работе она появлялась редко, как мне кажется. Хотя, кто знает. Возможно, и часто, я не уверена. То, что я знаю совершенно точно – мама была профессиональной больной. Как бывают профессиональные нищенки, так мама была больной со стажем. Не знаю, правда ли у нее имелось загадочное и неизлечимое заболевание, науке до конца не известное, вполне возможно. Но это заболевание позволяло ей спокойно жить и неплохо себя чувствовать, подолгу находясь на официальных больничных. Мама страдала многочисленными фобиями – она боялась эскалаторов, длинных переходов в метро, замкнутого пространства лифта, высоты, глубины, змей, мышей (вряд ли она когда-нибудь сталкивалась со змеями и мышами). На нее нападала бессонница, хотя на меня бы тоже она напала ночью, если бы я днем прекрасно высыпалась. Мама впадала в панику – она волновалась по мелочам. Вот это, конечно, сильно раздражало. Я прекрасно помню, хотя была еще маленькой, ходила в детский сад, как она с вечера начинала переживать, как завтра вести меня в сад – обещали гололед, метель и резкое похолодание. Весь вечер она могла провести, размышляя вслух о том, что лучше завтра вообще не ходить в сад, пожалуй. Ведь не дойдем. Оплата коммунальных услуг превращалась в сложную проблему – как заполнить квитанцию, как не забыть квитанцию, как дойти до почты, как отстоять очередь. А если нужно еще в магазин, то куда сначала – на почту или за продуктами?

Мама была «с прибабахом», как говорила про нее наша соседка Эльвира – единственный разумный человек в моем детстве, да и в юности тоже. Наверное, Эльвиру и ее мужа Вову послала нам в соседи судьба, чтобы мама смогла меня вырастить и не угробить. Чтобы у меня был хоть какой-то пример разумного поведения перед глазами. Я же всех равняла по маме и считала, что все вокруг, буквально все люди – сумасшедшие. Только их не видно. Маму же не видно. Я тоже ненормальная, но тоже это скрываю. Эльвирой я восхищалась.

Мама панически боялась жизни. Если, например, замолкал домашний телефон, она впадала в чудовищную панику, считая, что мы отрезаны от мира и завтра умрем. Она не знала, что делать, дула в телефонную трубку и в конце концов бежала к Эльвире. Ее муж Вова приходил, осматривал место катастрофы, находил штепсель, который был выдернут из розетки, возвращал его на место и уходил. Если перегорала лампочка, мама ее никогда не меняла – боялась, что ее ударит током, и говорила, что «не умеет». Она дожидалась, пока не погаснет последняя лампочка из четырех и снова бежала к Эльвире, которая ей выдавала Вову.

Но дело было не в этом. Мама действительно переживала. Для нее перегоревшие лампочки, отсутствие воды в кране, протекающая труба становились настоящей проблемой – она плакала, у нее тут же появлялась экзема на ноге. Она не притворялась. Она была «неприспособленной», как говорила сама про себя.

Однажды она пошла в булочную и забыла деньги. Уже взяла батон, булочку, дошла до кассы и поняла, что забыла кошелек. Другая бы женщина выложила хлеб и булку, посмеялась, пошутила и ушла. Или договорилась бы, что занесет деньги – в булочной ее все знали как постоянную покупательницу. Что сделала мама? Она стояла и плакала. Не могла выложить

батон и булку, потому что они были ей нужны. Не могла выйти позвонить, чтобы продавщица не подумала, будто она сбежала. Она стояла и плакала, пока ее не отпустили без денег и с хлебом.

Почему я так подробно рассказываю про маму? Чтобы самой себе объяснить то, как она вела себя потом.

Единственным местом, где мама чувствовала себя как рыба в воде, была поликлиника. Там ее прекрасно знали без всякой карточки. Мама регулярно наблюдалась у невролога, невропатолога и у еще десятка специалистов. Раз в три месяца мама сдавала анализы и прекрасно знала все об уровне лейкоцитов и тромбоцитов в крови. Я все гадала, как профессиональные врачи не распознают в моей маме здоровую женщину, но очень рано поняла – абсолютно здоровых людей не бывает. К моему здоровью мама относилась, мягко говоря, наплевательски. Но я росла крепкой девочкой, ничем особым не болела, уши мне не продувало, а про свою странную память, естественно, никому никогда не рассказывала. Как-то в детстве я несколько дней проходила со сломанной рукой. Боли не было, скорее, неудобство. Моя распухшая рука не влезала в рукав куртки. Я сама пошла в поликлинику, где мне наложили гипс. Кажется, мама этого даже не заметила.

Когда я уже подросла, стала догадываться, что у моей мамы, наверное, когда-то была другая жизнь. И там у нее были друзья, подруги, коллеги. И, наверное, они к ней неплохо относились.

И у нас появлялись то стиральная машинка, то новая плита, то шкаф в прихожей. Сколько мама зарабатывала, я никогда не знала. Но я понимала, что стиральную машинку мама никогда бы не купила – просто потому, что не смогла бы ее выбрать, запутавшись в функциях. И шкаф не смогла бы, потому что не знала необходимых размеров. И уж тем более ее ввергла бы в ступор необходимость устанавливать новую плиту.

– Откуда новый шкаф? – удивлялась я.

– Подарили.

Все крупные «вещи» мама называла «подарками». Рискну предположить, что она рассказывала в своем НИИ, как страдает, как болеет, как сломалась машинка, как рухнул шкаф и не работает плита. И коллеги, наверное, жалели и сбрасывались. А может, у нее был любовник, который выбирал кресло и стол по своему вкусу. Или она покупала вещи на алименты, которые исправно платил мой отец. А консультантом в магазине выступал какой-нибудь посторонний мужик.

Мама всегда радовалась подаркам. Да, это вообще было удивительное качество ее характера – она умела радоваться. Она могла прыгать над новым шкафом, словно прежний был хуже, а этот из золота. Надо ли удивляться тому, что даже из поликлиники она возвращалась с коробкой конфет от врача, которую он ей вручал. Наверняка мама изображала там полный восторг! Хотя на самом деле именно такой шоколад она в жизни никогда не стала бы есть.

Тут мама ничего из себя не изображала – ей нравились и конфеты, и полки в шкафу, и пакет с вещами, которые ей передали, наверное, с работы. Вещи были для младенца, причем мужского рода, а мне уже на тот момент исполнилось тринадцать.

– Какая прелесть! – восхищалась мама, разглядывая ползунки и распашонки.

Мне даже пришла в голову мысль, что мама присочинила для коллег еще и младенца, чтобы ее было жалче. Иначе как объяснить тот факт, что у нас в коридоре появилась детская коляска, которой мама тоже восхищалась.

Да, мама была такой Лелечкой, которую хотелось защитить, как-то примирить с жестокой действительностью, накормить, поддержать. В этом маме не было равных. Она умела казаться такой беззащитной, что даже мне ее становилось жаль. Ну и как заподозрить в образованной, приличной с виду женщине злостную врунь и обманщицу. Научные сотрудники с аккуратным маникюром не умеют врать. Мама питалась гречкой без соли, красилась в платиновую

блондинку и пила яблочный уксус. После чего ходила бледная, ее качало из стороны в сторону, и она боролась с приступами тошноты и диареи. В целом действительно производила впечатление больного человека. Если нахлебаться с утра уксуса, а потом пойти сдавать анализы, то они и не такое покажут.

Конечно, мне было интересно, кем был мой отец. Но от мамы добиться ответа было невозможно. Разговор происходил примерно так.

– Мам, кто мой отец? – решила я как-то на разговор.

– У тебя нет отца, – отрезала она.

Собственно, все. Либо мама верила в непорочное зачатие, либо... Не знаю, что либо. Я придумала себе, что отец у меня, естественно, есть. Жив, здоров. Я даже представляла, каким он мог быть – высоким, умным, сдержанным, красивым. Мне хотелось думать, что он восхитился удивительной беззащитностью моей мамы, нарядил ее в красивое шелковое платье, усадил на диван и всячески оберегал от всех невзгод. Потом он, как царь, снарядился в путь-дорогу, а мама у окна села ждать его одна. То, что мама могла просидеть беременной у окна, глядя исключительно на снег, было очень на нее похоже.

Мой отец, который никогда не был мужем моей мамы, так и не вернулся. В графе «отец» в моем свидетельстве о рождении стоял жирный прочерк. Впрочем, кто-то же платил алименты.

Что меня потрясло тогда? То, что Толяша вообще появился. В нашем доме никогда не появлялись мужчины. Не было ни дяди Пети, ни дяди Славы, которые бы дарили мне игрушки, никакого вообще дяди никогда и близко не замечалось. Мама была не из тех женщин, с которыми хочется жить под одной крышей – уж я-то это прекрасно знала. С ней было тяжело в быту. Она могла заморозить на время своей хрупкостью, инфантильностью, граничащей с идиотизмом, привлечь внимание светлыми кудряшками под Мэрилин Монро, такими женственными и придурковатыми. Но вряд ли кто-то согласился бы жить с такой женщиной. В лучшем случае – до первой утренней мало съедобной яичницы. Хотя только она, в искреннем недоумении сунув нос в тарелку с готовой яичницей, могла выглядеть настолько жалко, что эти горелые яйца хотелось съесть немедленно. Лишь бы она уже не страдала. Если я и представляла рядом со своей родительницей мужчину, то всегда высокого, харизматичного, с чувством юмора, прекрасного повара, который умело орудует ножом, брутального и обязательно нежного и немного неуклюжего. Так, во всяком случае, я думала про своего отца. Как он закрывает маме ноги пледом, несет ей чашку чаю. Его должны были звать Эдуард, Альберт, Александр, на худой конец. И вдруг – Толяша.

Он, Толяша, был совсем другим. Мужчина с простыми и понятными инстинктами. Рубцы на лице от юношеских угрей, заметный живот, вечно сальный подбородок, пальцы-сардельки, низкий лоб. Но особенно меня поразили ноги – кривые и короткие. Он любил макароны по-флотски, сыр с дырками и колбасу с жирком. Это не я так объясняю, это он так говорил – «купи сыр с дырками и колбасу с жирком». У него вообще все было с чем-то – если баранки, то с маком, если пресловутая яичница, то с помидорами. Чай с сахаром, кофе с молоком, хлеб с маслом. Мама же никогда в жизни не пила чай с сахаром и предпочитала черный кофе. Хлеб с маслом... ну да...

Толяша был невысокого роста, крепко сбитый, такой квадратный, крупногабаритный, с носом, ушами – что там еще бывает выдающимся? У Толяши все было в избытке. Особенно меня потрясли уши – поросячьи. Не знаю, откуда я это взяла, потому что свиней в жизни не видела, но отчего-то решила, что уши у нового мужа моей мамы – поросячьи. Я так долго таранилась на его уши, что маме пришлось объясняться. Даже дольше, чем на его ноги – те хотя бы были одинакового размера, а вот уши – нет. Левое казалось мне ужасным, но могло считаться нормальным, а от правого осталась половина, оно было как будто откусанное.

– У вас нет половины уха, – сказала я Толяше.

– Ну да, чудили по молодости, – объяснил он.

– Что вы делали? – Мне и вправду было интересно, хотя мама уже дико вращала глазами. Я даже не думала, что у нее такие подвижные глазные яблоки.

– Дрались. Чудика одного зажал, он хотел вырваться и откусил мне ухо.

Мама, чтобы разрядить обстановку, сообщила Толяше, что у меня бывают приступы до неприличия странного поведения. Я могла ответить, что у мамы бывают приступы слепоты, умопомешательства, затмения, но промолчала.

Но еще больше меня поразило, что Толяша был моложе мамы. Лет на десять, как мне показалось. Это было видно, особенно когда они сидели рядом. Нет, мама, безусловно, могла гордиться собой, своими формами, достигнутыми благодаря уксусной диете, но на фоне Толяши она казалась старой. Нет, не казалась – она была старой.

Я не понимала, почему моя мама выбрала себе в мужа Толяшу. Он называл ее Леной. Если честно, я не сразу поняла, о ком он говорит. Даже я мысленно называла маму не мамой, а Лелечкой. И вдруг появилась какая-то Лена. И Толяша. Старая женщина и сравнительно молодой мужчина с поросычьими ушами. В моем доме. То есть в том месте, которое я считала своим домом. Где всегда, с самого первого дня, жили Лелечка и Ксения, а теперь живут Лена и Толяша. Чувствуете разницу? Я ее очень даже чувствовала.

Выходные стали для меня адом. Я привыкла сидеть в своей комнате, читать, слушать музыку, готовиться к семинарам. Мне нравилась тишина. Но все это осталось в прошлом. В соседней комнате орал телевизор с хоккейным или футбольным матчем. Толяша разговаривал с комментаторами.

– Ксюха, метнись в магазин.

Я подсакивала на месте. Мама никогда не входила в мою комнату. Ни при каких обстоятельствах. А я никогда не входила в ее. Наверное, если бы я жила в другой семье, меня бы научили стучаться, но я жила с мамой. И мы не нарушали личного пространства друг друга. Если нам требовалось поговорить, мы встречались на «нейтральной территории», то есть на кухне. Если мама слишком тщательно заваривала чай, я понимала, что она хочет что-то мне сказать, и выходила на кухню.

Если бы у меня с мамой были близкие отношения, я бы ее спросила: «Мама, что ты в нем нашла?» А она бы заранее сказала: «Ксения, ты не против? Я счастлива с этим человеком. Пойми меня». Но у нас не было доверительных отношений. Вся близость закончилась, когда я была во втором классе. Тогда маму стали пугать родительские собрания, на которые она решила не ходить, ее перестали интересовать моя успеваемость и мои «мелкие» проблемы. Как только я научилась заполнять дневник и отрезать кусок хлеба и колбасы, мама стала мне чужим человеком. Она не знала, чем я занимаюсь, в какие кружки хожу и нужен ли мне цветной картон, например. Тогда-то и появилась тумбочка с деньгами. Мама работала, но кем – я не знала. Никаких родственников у нас не было. Ни бабушек, ни дедушек. Никаких фотографий – тоже. До тех пор, пока не появился Толяша. Сначала на тумбочке появилась их с мамой фотография из загса, потом их фотография на фоне куста сирени, потом еще несколько их совместных фотографий.

Для меня жизнь и вправду стала невыносимой. Даже физически, не то что морально. Я в свои семнадцать, восемнадцать, оставалась сущим ребенком в некоторых сферах. У меня не было мальчика, я ничего не знала о мужчинах. И когда в ванной на вешалке появились мужские трусы, майка, я впала в ступор. Когда мама попросила меня погладить рубашку для Толяши, у меня тряслись руки. Я все время ходила с комом в желудке и боролась с приступами тошноты. У меня не было отца, старшего или младшего брата, дяди, дедушки. Я не умела жить с мужчиной! Не знала, что они бреются, отматывают полрулона туалетной бумаги, сгрызают зубную щетку, оставляют свой помазок на раковине, без всякого зазрения совести пользуются моим шампунем и моей мочалкой, а также *моим* полотенцем!

– Мам, скажи ему, что это *мое* полотенце! – умоляла я.

– Не ему, а Анатолию Петровичу, – поправляла мама.

– Анатолий Петрович не взял бы чужое полотенце, а *он* берет!

– Он случайно.

– Каждый день?

– Ну уноси полотенце в свою комнату, – спокойно предложила мама.

– Почему? – не сдержавшись, закричала я. – Почему я должна относить полотенце в комнату? *Мое* полотенце всегда висело справа. Не в комнате!

– Что ты возмущаешься?

– Потому что это *мое* полотенце! Пусть берет твое, если тебе не противно!

Опять же я не понимала, почему мама пытается вовлечь меня в свои отношения с новым мужем. С чего вдруг я должна наливать ему чай и гладить рубашки? Почему должна покупать в магазине *его* колбасу? И почему я должна *за ним* мыть тарелки?

– Мы же семья теперь, – промямлила мама, когда я высказала ей свои претензии.

Для меня это не было аргументом.

Я не догадывалась, что от мужчин по-другому и очень неприятно пахнет, что они носят носки, которые воняют так, что невозможно зайти в ванную. Я тихо сходила с ума – меня беспокоили запахи, посторонние вещи, продукты в холодильнике, звуки из большой комнаты, вечно грязный унитаз. Моя память не приходила мне на помощь – я все помнила до мелочей. Новую чашку, новый диван, тапочки в коридоре. Тирольская шляпа вызывала у меня истерику, а кожаная куртка – приступ рвоты. Но и это было не самым худшим. Самое ужасное наступило потом.

Я пришла домой и обнаружила, что в большой комнате появился стол, тот самый, раздвижной, рассчитанный на гостей. Мама в переднике, еще одной новой детали ее гардероба, смотрела на сожженную до костей курицу. Рядом сидела молодая женщина, не намного старше меня, полная, некрасивая. Я заметила нос картошкой и решила, что это удача – я могу запомнить ее по этому носу. Женщина представилась Анной.

– Здравствуйте! Я дочь Анатолия Петровича.

– Кого? – не подумав, спросила я.

Выглядело так, что Анатолий Петрович для меня – пустое место, а не счастье, пришедшее в наш дом. Для меня он никто, раз я не могу запомнить даже имя. Но Анатолий Петрович для меня был ОН. Без всякого имени.

На лице гостьи отразилось возмущение. Мама пыталась разложить на тарелки обугленные куски курицы. Я кивнула в знак приветствия и решила побыстрее скрыться в комнате.

– Сядь, у нас гости, – прозвучал мужской голос. Поскольку я вообще никогда не слышала мужской голос в нашем доме, а тем более такой – злобный, настойчивый, раздражительный, то моментально села. От неожиданности. Я посмотрела на маму. Она должна была разрешить мне выйти и как-то объяснить своему мужу, что меня нельзя удерживать против моей воли. Но мама накладывала в тарелку Толяше салат, в котором явно было пачки две майонеза.

– Мама до сих пор очень переживает, – горестно заметила Анна.

– Ниче, успокоится, – ответил Толяша.

Я ковырнула вилкой салат и посмотрела на него. Красное лицо, нос картошкой, уши эти его ужасные. И заплывшие глаза. Он налил себе водки и выпил залпом. Я никогда раньше не видела пьяного мужчину. С каждой рюмкой Толяша багровел и все больше злился. Анна жаловалась, что не хватает денег на детей. То одежда, то лекарства.

Моей маме она рассказывала, что детей двое – мальчик-засранчик Колька и девочка-сыкуха Катька. Я раскрыла рот – никогда не слышала, чтобы так называли детей. Да я вообще не слышала, чтобы детей как-то называли. И решила, что никогда не стану матерью. Чтобы у меня не было засранчика и сыкухи. Впрочем, у Анны нашлись и другие эпитеты для характеристики

собственных детей. «Малой» и «малая». «Мелкий» и «мелкая». Еще в речи мелькали «мелочь» и «спиногрызы». Мама улыбалась. Я так и сидела с открытым ртом. Мне пришло в голову, что я должна быть счастлива. Ведь я взрослая, а не «мелкая». И Толяша не будет рифмовать Ксюха-сыкуха.

Мамин муж тяжело встал, дошел до шкафа, вытащил из кармана пиджака кошелек и бросил деньги на стол. Несколько купюр попали в салат. Аня, несколько не смутившись, оттерла салфеткой следы майонеза и сунула деньги в сумочку.

Воспользовавшись паузой, я сделала еще одну попытку встать из-за стола.

– Сидеть, я сказал! – рявкнул на меня Толяша.

– У меня семинар, готовиться надо, – прошептала я, обращаясь к маме.

Но мама пила вино. Анна ухмыльнулась.

– Ты учишься? – спросила она.

– Да она сильно много о себе думает, – расхохотался Толяша. – Шляется не пойми где, а Ленке и дела нет. Лучше б уже мужика нашла да свалила.

Меня стало тошнить. Сильно. Я боролась с приступом как могла. Мама молчала. Я не понимала, как она может молчать: раньше ее никто не называл Ленкой, как меня никто не называл Ксюхой.

Наверное, она его любила. Только так я могла это объяснить. Мамину апатию, бесхребетность, покорность. Нет, она никогда не была воинствующей амазонкой, она всегда была мягкой. Но сейчас с ней происходили необъяснимые метаморфозы. И главная – она променяла меня на Толяшу. Он стал для нее главным человеком в жизни. Она выбрала его, а не меня.

Я не злилась на маму, во мне не зажегся «огонек ненависти», как я прочитала в какой-то статье по психологии, я находилась в состоянии удивления. Глубокого душевного удивления. Будто выпучила глаза, охнула, и так и осталась. Как пугала меня воспитательница в детском саду – если будешь много смеяться, кто-нибудь напугает, «то так и останешься». Будешь ходить, как дурочка, и всем улыбаться. Я не понимала, почему всем улыбаться – это плохо, но слушалась воспитательницу.

Мне так и не удалось найти удобную форму обращения к Толяше. Называть его Анатолием Петровичем не могла, потому что в моей голове поселился Толяша. Впрочем, я вообще не могла никак к нему обращаться. Поэтому избегала прямой формы. Обходилась обтекаемыми формами: «Мама попросила, мама сказала... ужин готов, мне нужна ванная...» Мне казалось, что мои ухищрения никто не замечает, но оказалось, что это было не так. Слышимость в нашей квартире, как я уже говорила, была стопроцентная, поэтому я прекрасно знала, что обо мне думает Толяша.

– Да она только строит из себя целку! – внушал он моей маме. – Сильно умная? Знаю я этих малолеток. Шляются, бухают. Откуда у нее деньги? Работает она! Кто эту малолетку на работу взял? За какие такие красивые глазки? Да ладно бы у нее хоть сиськи были! А так ведь – посмотреть не на что!

Мама молчала. Я прислушивалась, надеясь услышать хотя бы ее слабый голос в мою защиту, но она молчала.

Раз в месяц приезжала Анна за деньгами. Мама превращалась в бессловесную тень. Толяша по вечерам пил пиво с водкой. Он работал по сменам и, когда оставался дома, пил. То, что пиво без водки – деньги на ветер, я узнала от него.

Точно не помню, что тогда произошло. Обрывки реальности, которые я не стремилась восстановить в памяти. К тому времени я перечитала гору литературы про свойства памяти, пытаюсь поставить диагноз самой себе. Почему я не помню? Единственное разумное объяснение, которое нашлось, звучало как «сработал защитный механизм».

Но хорошо помню начало того вечера. Я вернулась домой и увидела, как Толяша стоит над ящиком моего письменного стола – я накануне перепрятала деньги – и пересчитывает купюры. Рядом стоит мама и плачет.

– Проститутка! Я же говорил, что она шалава! Откуда у нее такие деньжищи? Да я столько не зарабатываю!

Я откладывала эти деньги много месяцев. В этих деньгах были мои мечты, которые я так и не оформила в реальность. Но это были МОИ деньги и *моя* комната. У меня уже ничего не было, даже собственной матери. Но комната и деньги оставались моими.

– Положите на место, – тихо сказала я.

– О, явилась, не запылилась! Накувыркалась? – Толяша был уже пьян, судя по заплывшим глазам и цвету лица. – Сколько сегодня? Трое? Пятеро?

– Я заработала. Вы не имеете права.

– О, эта... – он знал много синонимов к слову «проститутка», – еще и хавальник свой помоечный на меня открывает?

– Деньги... отдайте... Мама, скажи ему, чтобы отдал... – прошептала я.

– Ленка, ты слышала, как она ко мне обращается? Ему!

– Ты могла бы называть Анатолия Петровича папой, – обратилась ко мне мама, и я чуть в обморок не свалилась. – Мы же одна семья, это же правильно. Надо сменить фамилию, чтобы у всех была одна. Анатолий Петрович готов тебя удочерить.

Мне показалось, что я сошла с ума. Что я нахожусь в самом дурном из всех снов. И сработал защитный механизм, как в детстве. Когда мне не нравилась каша в детском садике, я представляла себе, что масло сверху выглядит, как смешная тучка или как прическа воспитательницы. И тут же начинала хохотать. Я была смешливая по природе. И тут представила, что называю Толяшу папой и ношу его фамилию, которую, кстати, даже не знала. И начала хохотать. Смеялась я до истерики. Никак не могла остановиться. Уже икала и всхлипывала.

– И какая фамилия? – спросила между приступами я.

Мама была Беляевой, я тоже была Беляевой и меня моя блеклая, нейтральная, распространенная фамилия вполне устраивала.

– Цухло, – сказала мама.

– Что? – Я продолжала хрюкать от смеха.

– Мы с Толяшей подумали, что нужно поменять. Цухло. Очень красиво. И Толяша станет тебе папой.

Вот что я должна была сказать собственной матери? Что я давно совершеннолетняя? Что меня никто уже не может ни удочерить, ни усыновить. Даже в детдом меня уже нельзя сдать. И меня настолько устраивает моя фамилия, что я бы сто раз подумала, брать ли фамилию мужа, если выйду замуж. Называть папой Толяшу? Папой? Цухло? Да он Бухло! Прекрасно рифмуется!

– Деньги отдайте, – выдавила я и протянула руку. Видимо, этот жест Толяша счел угрожающим. Иначе я никак не могу объяснить то, что произошло потом. Он прижал меня к стенке и дышал в лицо перегаром. Он говорил мне, что я проститутка. Поскольку никто никогда меня не приставлял к стенке, то я не осознавала степень опасности. Мне, скорее, было любопытно. Даже страшно не было. И что будет дальше? Он меня задушит? Ударит?

Он меня ударил. Больно. По щеке кулаком. Я отлетела в угол комнаты, но встала. Я подошла и вырвала деньги из его рук. Краем сознания отметила, что мама вышла из комнаты. То есть она и не видела, как он меня ударил. Или видела и в этот момент ушла? Но никакой материнский инстинкт не заставил ее повиснуть на руке новоявленного Цухло, начать кричать и причитать. Она не бросилась грудью на мою защиту. Она вышла из комнаты. Возможно, думала, что ее Толяша, который согласился стать моим папой, меня воспитывает так, как должен воспитывать отец. Возможно, она вышла раньше, чем он меня ударил. Я не знаю. До сих

пор. Никогда не спрашивала. Нет, я не ударила Толяшу в пах, не расцарапала ему лицо. Не выдавила глаза. Хотя могла бы. Школьный физрук преподавал нам, девочкам, приемы самообороны. Я встала, подошла и забрала у Толяши деньги. Он мне их отдал. Наверное, тоже от шока. Наверное, он привык, что женщины начинают скулить, ползать по полу, умолять и пресмыкаться. Наверное, он привык к женским слезам. У меня не было слез. Я не чувствовала боли. Я подошла и забрала деньги.

– Это *мои* деньги. И полотенце в ванной, которое справа, *моё*. И комната тоже *моя*. Понятно? – процедила я.

– Сучка, – выдохнул Толяша и вышел из комнаты.

Про боль тоже интересно. Сколько статей я перечитала. У меня был низкий порог чувствительности. Я не испытывала физическую боль, только внутреннюю. Мне было больно, если я видела перед собой еду, которую не могла есть. Больно, если менялся привычный уклад жизни. Но если я разбивала коленку или ударялась, то боли не чувствовала. Синяк говорил о том, что я ударилась, и сильно. Поскольку мы не были близки, а скорее напоминали соседок в одной квартире, я не знаю, что мама замечала, а что нет. Опять же у меня не было обиды или других свойственных дочери комплексов. В чем-то мне даже нравились наши отношения, и я с удивлением слушала, как одна из знакомых девочек рассказывала, что мать наорала, запретила, чокнулась, с дуба рухнула. Моя мама могла рухнуть с дуба, но я бы этого не заметила. Как не могла представить себе то, что мама на меня орет. Мы и разговаривали-то редко, так что до ора нам предстоял слишком долгий путь.

Что было потом? Да, собственно, ничего особенного. Я стала снимать комнату вместе с еще двумя девушками. Вариант мне нашла Инна и буквально за один день. Денег у меня хватало. Обедала и ужинала я по-прежнему на работе. Не знаю, заметила ли мама мое отсутствие. Наверняка Толяша убедил ее в том, что я переехала к мужику. У меня не было по этому поводу особых переживаний – две мои соседки жили сами по себе, я даже не помнила, как они выглядели, если честно. Они жили в одной комнате, большой, а мне досталась маленькая. Мы практически не сталкивались. Я уходила раньше, приходила, когда их еще не было. Одна, насколько я помню, работала официанткой, училась на заочном. Про вторую вообще ничего не помню.

Маме я звонила по праздникам, чтобы поздравить. Она говорила «спасибо». Спрашивала без всякого интереса, как мои дела. Я неизменно отвечала «хорошо». Больше вопросов не возникало.

Как-то я заехала домой, чтобы забрать шубу и зимнюю куртку. Если честно, надеялась, что все будет по-прежнему – открытая входная дверь, мамина чашка с кофе на столе. Но дверь была заперта. Я поелозила ключом, но безрезультатно. Нажала на звонок. Было уже холодно, а я ходила в осеннем пальто. Мне не пришло в голову, что могу купить себе новое, теплое пальто, ведь у меня была старая куртка. На звонок никто не открывал. И только тут я поняла, что дверь не та. И коврик перед дверью не наш, а другой. Я перепугалась до ужаса, решив, что моя память дала сбой. Что я перепутала этаж, подъезд, дом. Но как такое возможно? Я ведь прожила в этой квартире всю жизнь, я не могла ее забыть. Но все было против моей памяти – дверь другая, новая, коврик. Площадка та же, этаж тот же. Но дверь-то другая. Я вышла из подъезда и снова поднялась. И снова оказалась перед новой дверью. Позвонила еще раз. И снова никто не открыл. Я уехала.

Для меня это стало шоком – невозможность попасть в собственную квартиру. Каждый день после работы я приезжала «домой», наткнулась на новую дверь и новый коврик, звонила, ковырялась в замке ключом и уезжала. Нет, немного я успокоилась – не могла же я столько раз путать адрес. Но внутренний страх не проходил. Я ездила так две недели, пока для себя не решила – все, у меня нет дома, у меня нет старой куртки, нет мамы. Наверное, она куда-

нибудь переехала с Толяшей. Когда я для себя решила, что моя новая жизнь теперь на новой съемной квартире, что от старой ничего не осталось, дверь открылась.

На пороге стояла женщина. Она держала на руках маленькую девочку.

– Здравствуйте, – сказала я.

– А, это ты? – Женщина приоткрыла дверь, давая мне возможность войти.

Поскольку я не знала, кто эта женщина, то была благодарна ей за то, что она открыла мне дверь и, видимо, узнала.

– Я за вещами. Куртку забрать, – начала оправдываться я.

Квартира была не моя. На полу – ковровая дорожка, на вешалке в прихожей – незнакомая одежда. Мне стало легче дышать – я точно ошиблась адресом. Но тогда почему женщина меня узнала и впустила?

– Кто это? – спросила девочка.

– Никто, – ответила женщина.

Я зашла в комнату, которую считала своей. И села на пол. Это была не моя комната. Мне стало плохо. Я подумала, что нужно пойти к врачу. Моя память... наверное, я тяжело больна. Я попала в незнакомую квартиру, в незнакомую комнату, где ничего не узнаю. Женщина сказала, что я – никто. Тогда надо встать и уйти. Но я сидела на полу. Мой письменный стол исчез. На его месте стояло здоровенное кресло. Вместо моей кровати появился раскладной диван.

Я рассматривала обстановку, силясь найти хоть какие-то знакомые вещи. В тот момент я поняла, как сходят с ума. Это не длительный процесс, как пишут в книгах, а одномоментный. Ты вдруг понимаешь, что сошел с ума. Что жизнь вокруг – не твоя жизнь. Что место, где ты находишься, – не то место. Руки становятся мокрыми. Становится жарко, душно, нестерпимо хочется лечь и уснуть. Я могу в подробностях описать весь этот процесс. Но мозг – удивительная субстанция – борется до последнего. Когда я уже готова была провалиться в спасительное забытие в надежде, что очнусь в палате психиатрической больницы, где мне расскажут, что сейчас будет завтрак, а потом прогулка, как взгляд зацепился за куклу. Мою куклу. Маленькая фигурка испанки в роскошной юбке. Как и откуда она появилась, я не знала. Но она была всегда. Стояла на нижней полке, рядом с книгами. Сейчас перекочевала наверх. Там же, на самой верхней полке, стояли мои, МОИ книги. В другом порядке, но мои. Я узнала корешки. Я заставила себя встать и открыть шкаф. Там висели *мои* вещи. Старые джинсы, кофты, свитера, белье было засунуто на две верхние полки. Остальные занимали детские вещи.

– Тебе сумку дать? – спросила женщина, зайдя в комнату.

– Да, – ответила я.

Она бросила мне какой-то пакет и смотрела, как я складываю вещи.

– Они уехали. Я ушла от мужа. Достал, скотина. Пока здесь. На развод подам. Только он, сволочь, алименты не будет платить. Щас без работы, – говорила женщина.

– А когда они вернуться? – спросила я, поскольку знала, как задавать вопросы, когда не понимала, о чем идет речь.

– Хрен знает. Они сняли квартиру. Вот телефон. Это Подмосковье. Там дешевле.

– Дверь новая...

– Так тут ходят все. Проходной двор. Обнесут.

Я не стала спрашивать, что можно обнести в нашей квартире.

– Есть будешь? – спросила женщина.

И не дождавшись ответа, ушла на кухню.

А я опять рассматривала комнату, понимая, что она моя. Была моей. Неужели мама так изменилась? Это была комната другой женщины, с другим вкусом. И вдруг до меня дошло – комната стала точной копией обстановки в квартире нашей соседки Эльвиры. Зеленые шторы с золотой нитью, «плюшевое» покрывало на диване. Покрывало меня особенно поразило –

рисунок с ядовито-алыми цветами. Прикроватная тумбочка исчезла, видимо, за ненадобностью. А куда делись вещи из моего письменного стола? Мама их выбросила? Нет, она не могла.

– Там внизу еще коробка стоит. Не шмотки, а бумаги всякие. Или забери, или выброси – мешает, – зашла в комнату женщина. – Пойдем, все готово.

Я сидела на табуретке и ела пюре с сосиской. Девочку женщина кормила кашей. Я сидела рядом с мальчиком.

– Если бы не эти... – женщина показала ложкой на детей, – убила бы, говнюка. Но у его мамы дачка приличная, пусть отпишет. Хрена лысого я ему развод дам. Пусть дачку перепишет, тогда я подумаю. Шляется щас по бабам небось от радости, что я свалила. Скотина.

Женщина по-хозяйски хлопала дверцей холодильника и мыла посуду. Я ее узнала по рукам, точнее, по пальцам. Широкая для женщины ладонь и длинные, спиленные острым конусом ногти. И, конечно, нос. Как же могла забыть нос? Это была Анна, располневшая еще больше.

Она доставала чашки, наливала чай. Но блюдами не пользовалась.

– Можно мне блюдо? – попросила я, потому что это была одна из моих фобий – если к чашке полагалось блюдо, то оно мне было нужно.

Анна выдала мне блюдо.

– Не сладко, – сказал мальчик.

Анна взяла мою чайную ложку и стала размешивать чай другой стороной, ручкой. Потом вернула мне ложку. Хорошо, что я отвлеклась на детали. На столе появилась клеенчатая скатерть, которой у нас никогда не было. Хрустальная ваза, предназначенная для фруктов, исчезла. Кухня была грязной – на шкафах пятна от масла, давно не чищенная плита. Анна порезала яблоко и поставила перед детьми. Малышка взяла дольку и не удержала, уронила на пол. Анна подняла яблоко, облизнула и отдала дочке. Что меня удерживало там, на этой кухне? Наверное, вкус пюре. Я такое с детского сада не ела. Пюре было настолько вкусным, что я хотела попросить добавки, но сдерживалась.

Я допила чай, забрала сумку, коробку и ушла. Понимала ли я в тот момент, что лишилась собственного угла, дома? Вряд ли. Я все надеялась на то, что ошиблась квартирой. Что это все... не сон... а какая-то ошибка. И скоро все образуется.

Наступал Новый год. Несколько раз я пыталась набирать номер, который дала мне Анна. Но так и не смогла позвонить. Новый год я всегда встречала с мамой. Она покупала бутылку шампанского, мандарины, делала крошечные бутерброды с красной икрой. Мы садились за стол и смотрели телевизор. Я не умела встречать Новый год без мамы. Девочки-соседки собирались в гости и звали меня с собой. Инна шла в ресторан и тоже звала. Оля встречала Новый год в компании однокурсников и требовала, чтобы я присоединялась. Но я говорила, что поеду к маме. Мне было приятно, что меня зовут. Конечно, это означало, что у меня есть своя жизнь, отдельная от мамы. И даже есть с кем встретить Новый год, могу выбирать. Но я хотела домой, к маме. И поехала домой, к маме.

Дверь была та же, то есть новая, но на звонок открыла мама.

– Ксения? Заходи скорее, дует. Поможешь мне салат резать. – Мама не обрадовалась и не удивилась.

А что оставалось мне? Напоминать ей, что мы не виделись несколько месяцев, а она ведет себя так, будто мы расстались утром? Или спрашивать, куда делся мой письменный стол и кровать? В комнате орал телевизор. Я прошла на кухню, где всюю шла подготовка к праздничному ужину. Мама усадила меня резать овощи на «оливье», а сама крошила яйца на «мимозу». Я так и сидела с ножом, который она всунула мне в руку. От мамы остался только голос. На кухне крутилась другая, незнакомая женщина. У этой женщины были коротко стриженные ногти с облупившимся лаком. У моей мамы никогда в жизни не было облупившегося лака. Но моя мама, от природы русоволосая, всегда красившаяся в блондинку, что добавляло ей

нежности и беззащитности, перекрасилась в брюнетку. Мама, не выходявшая вынести мусор без укладки (она накручивалась на бигуди на ночь), теперь изредка касалась расческой черных прямых волос. Голову она явно помыть забыла. Сальные пряди примялись на затылке, да так и остались. Она стояла в чужом халате, бабском, зеленом, теплом, застегивающемся спереди на молнию. И поразительным было не то, как проворно она сыпала тертое яйцо, украшая салат, как укладывала икру в яичные дольки, обильно поливая их майонезом. А то, что она вообще это делала так, будто всю жизнь только этим и занималась – давила майонез во все емкости.

– Ну что застыла? Режь давай! – Ее голос вывел меня из ступора.

Мама? Моя мама так никогда не говорила. Застыла? Нет, она никогда в жизни, даже когда я была маленькой, так меня не подгоняла.

Я начала резать вареную морковь.

– Помельче. Толяша любит, когда мелко накрошено.

И опять меня будто дернуло – «накрошено». Она никогда не говорила «накрошено».

Я стала резать мельче. Мама же подошла к столу, налила себе водки и выпила, даже не поморщившись. И, взяв банку с горошком, начала орудовать открывалкой. Да она завинчивающуюся крышку венгерской банки с огурцами никогда не могла самостоятельно открыть, не то что открывалкой. Чтобы открыть банку, мама бежала к соседям – все банки открывал Вова.

– Как твои анализы? – спросила я. Анализы и визиты к врачам были беспроектной темой для беседы.

– Не ходила давно. Да к этим врачам только попади – залечат до смерти, – отмахнулась мама.

Я пыталась приспособиться. Очень старалась. Приезжала, вежливо здоровалась с Толяшей, играла с детьми Анны, которая опять поругалась с мужем. Мама ни разу за все время не спросила, как мои дела – как я учусь, на что живу, где живу, с кем живу. Толяша, напившись, спрашивал, где мой хахаль. Мол, давай, привози, знакомиться будем с будущим зятем. Мама смеялась. Хахаль – так они называли моего несуществующего ухажера. Аня спрашивала, не залетела ли я, и обещала дать телефон абортария.

– Нормально там. Я уже четыре аборта сделала, – откровенничала она.

Из всей этой новой образовавшейся семьи, как ни странно, ближе и понятней всех мне оказалась именно Аня. Возможно, она была благодарна мне за то, что я хоть на время освободила ее от детей – мы ходили гулять, играли. Возможно, ей было несложно быть со мной приветливой. Она часто спрашивала – почему я не выхожу замуж, почему не надавлю на хахалю, не хочу ли я забеременеть, тогда он точно женится. Я не отвечала, потому что у меня не было готовых ответов на такие вопросы. Впрочем, мои ответы никого и не интересовали. Мама была поглощена своим Толяшей, тот был поглощен водкой и телевизором. И именно Аня ставила передо мной тарелку с бутербродом и кормила сосисками, когда я приезжала. Именно Аня благодарила за подарки, которые я дарила ее детям – игрушки, шоколадки. И только ей я как-то призналась, что никакого «хахалю» у меня в помине нет, зато есть работа и съемная квартира.

Зачем я туда ездила? Зачем мне такая семья? Я злилась на маму. Как она могла выйти замуж за «такое»? Неужели это ее уровень? Она мечтала резать салаты тазами и смотреть на сальный подбородок пьяного мужика? Толяша, когда нажирался, становился агрессивным. Ему могло не понравиться, как я на него смотрю. Или то, что не вовремя убрала тарелку. Толяша ел в комнате, расположив тарелку на животе. Потом отставлял ее на журнальный столик. Один раз я забрала тарелку.

– Куда ты закусь потащила? – остановил он меня. Но я решила, что тарелку унесу, будто от этого что-то зависело. Да, для меня зависело – я хотела дать ему понять, что я ему никто. И я заберу это чертову тарелку во что бы то ни стало. Потому что есть надо на кухне, если уж у нас нет столовой.

Толяша стал тяжело подниматься с дивана и наступать на меня. У меня не было страха. Я даже хотела, чтобы он подошел, и я бы с чистой совестью могла бы разбить эту тарелку о его голову.

– Пап, не быкуй, слышь? Че ты? – подскочила Аня и дернула отца за руку.

– А ты че, дура совсем? – накинулась она на меня. – Он же бухой, че ты с ним связалась?

Я сидела в институте на лекциях, потом на работе и думала о том, что не хочу, не могу. Не хочу жить в такой семье, не хочу видеть Толяшу. Даже Аню с ее детьми видеть не хочу. Я хочу свой старый дом, свою комнату и свою прежнюю маму. Которая была блондинкой, верила в несуществующие болезни, боялась дойти до сберкассы и не хлестала водку. Но прошел год. Ничего не менялось. Они все будто застыли в одном времени. Оливье, скандалы, затишье, оливье, скандалы, затишье.

– Да пусть живут как хотят, – сказала мне Инна, которой я рассказала, что мама снова вышла замуж, – а ты живи, как ты хочешь. Представь, что у тебя вообще нет дома, никогда не было, и живи. Строй свой дом.

Елена

Отца Ксении я любила сильно. Сейчас могу сказать, что ничего о нем не знала. Если честно, то я его и не помнила толком. Он был женат и не собирался уходить из семьи, о чем мне сообщил сразу же. Наверное, он был в чем-то порядочным мужчиной. Он ничего мне не обещал, никогда не врал. Когда узнал, что я беременна, сказал, что ребенка не признает, но поддерживать будет.

– Я не буду ей отцом, – сказал он мне. – Никаких встреч, ничего.

Он присылал мне деньги. Не алименты каждый месяц, а тогда, когда мог и хотел. Мне хватало. Я помню, что у него была страсть к театральности. Во всяком случае, он взял с меня торжественную клятву, что я никогда не расскажу его жене о своем существовании, а тем более о ребенке. Если бы он мог, то заставил бы меня поклясться на крови – разрезать ладонь, капнуть в чашу, отпить или что там положено делать в спектаклях. Но он ограничился заламыванием рук, рассказом о своей прекрасной жене и двух своих чудесных детях. Он стоял на коленях и просил, чтобы я не разрушала его жизнь, его дом, его судьбу. Поскольку этот спектакль затягивался и я мечтала об антракте, я ему в этом поклялась. Он кивнул и ушел. Больше я его не видела.

Хотелось ли мне узнать о нем больше, чем я знала, точнее ничего? Хотелось. Потом, когда стала подрастать Ксения и когда я поняла, что она взяла так много от отца и мало от меня? Не знаю. Возможно, когда ей исполнилось года два-три. Все ее странности я списывала на генетику – на отцовские гены. Правда, она оказалась сдержанной, сосредоточенной и очень странной девочкой, чего не было ни во мне, ни в ее отце. На кого она была похожа? Не знаю. Точно не на меня. Но я искала в ней знакомые черты мужчины, которого любила, и не находила. Возможно, что-то передалось от его матери или бабки, которых я, конечно, никогда не видела.

Как я радовалась тому, что у меня родилась девочка! Мне казалось, что мы должны быть близки как мать и дочь. Я даже считала это особым знаком. У меня есть дочь, не сын. Моя девочка, не его сын! Но еще в роддоме мне нянечка сказала, что дочки обычно похожи на своих отцов, а мальчики – на матерей. Странно, никогда бы не подумала, что такое может быть.

Я не должна в этом признаваться, ведь я ее мать. Но мне казалось, что рядом со мной живет чужой ребенок, который ко мне не имеет никакого отношения. Я ее не чувствовала. Не понимала. Она не хотела быть похожей на маму, как все девочки. С каждым днем ее взросления я замечала только странности. Ксения не мерила мои туфли или платья. Она никогда не рисовала цветы на обоях, не сдергивала скатерть или занавеску, чтобы вернуться и представить себе, что она в платье. Она не брала мою косметику. Она даже не была нежной. Ксения терпеть не могла, когда я ее обнимала и целовала, – вырывалась и отбрыкивалась. Она была холодной и рассудительной. Я смотрела на нее – это не от меня и это не от меня. От отца? Неужели он был таким? Я и не замечала. Ксения всегда была сама по себе. Она плакала, если я ложилась в ее кроватку, чтобы почитать книжку – ей не нравилось, когда ее кровать занимали. Она ненавидела играть в куклы, зато без конца что-то резала. С ножницами она не расставалась. Из салфеток вырезала снежинки, из картона – силуэты человечков. Когда Ксения обижалась, то могла молчать целыми днями. Никакие объяснения и уговоры на нее не действовали. Она оказалась злопамятной девочкой – все обиды помнила в подробностях, в деталях. Если я ей что-то категорически запрещала, то пусть не назавтра, но через неделю, через месяц, Ксения бы все равно сделала то, что задумала. Так было, например, с качелями. Ксении непременно хотелось забраться на них ногами и раскачаться. Откуда она это придумала – не знаю. Я запретила – на качели дети садятся попами, в чистой одежде и нельзя на них вставать в сапогах. Я сто раз объяснила – во-первых, это опасно, во-вторых, после тебя придет ребенок и как он сядет на грязные качели? Ксения не понимала. Она хотела качаться стоя. И все-таки сделала

по-своему. Почти неделю она качалась, как все и когда я уже успокоилась, встала ногами и раскачалась. Она тогда упала и сильно ударилась.

– Вот, я же тебя предупреждала, – сказала я.

Но Ксения с разбитой коленкой лежала на земле и улыбалась.

Хорошо помню, как сделала ремонт в ее комнате и поклеила новые обои. Беленькие, чистенькие, в мелкий розовый цветочек. Я так радовалась. Доставала эти обои, деньги немислимые отдала, а у нее случилась истерика. Она требовала свои старые обои – серые, с тоскливым невнятным рисунком, которые лежали в каждом магазине и достались еще от предыдущих хозяев квартиры. Я на них уже смотреть не могла. Дочь плакала целую неделю. Я думала, что привыкнет – ребенок, шесть лет. Но она не привыкла и каждый день устраивала мне истерику по поводу этих обоев. Я пошла в магазин, купила один рулон и поклеила его кусками поверх новых. Выглядело это чудовищно, но Ксения успокоилась.

Ксения. Мне очень хотелось называть ее Ксюшей, Оксаной, Ксюней, Ксешей. Я называла, пробуя на вкус ласковые имена. Но она не реагировала. Просто делала вид, что меня не слышит. Когда я обращалась к ней полным именем, она откликнулась. Мне очень хотелось ее обнять, прижать к себе. Но она не позволяла. Она не давала себя поцеловать, даже когда была совсем маленькой. Отворачивалась и начинала плакать. Она пугалась любых перемен в обстановке, и я больше с ней не боролась. Если бы я переставила шкаф, она бы отказалась заходить в комнату. Если я протирала пыль и переставляла вазу, Ксения непременно возвращала ее на прежнее место. Если что-то ломалось или терялось, она могла всю ночь чинить игрушку или искать пропажу. Да, не скрою, иногда дочь казалась мне страшной занудой. И я чуть на стену не лезла от ее молчания, слез на пустом, как мне казалось, месте, от ее привычек все раскладывать по ящикам, полкам и держать в идеальной чистоте стол. Мне бы хотелось видеть ее более творческой, пусть даже сумасбродной, более талантливой, что ли. Но она всегда была твердой хорошисткой – делала все, что положено, учила все, что задавали. Но даже учителя не ставили ей пятерки, потому что моя дочь не выглядела «отличницей». Она вообще никак не выглядела. Обычная девочка. Настолько обычная, что меня тоска брала. Плюс странности.

Наверное, в этом есть и моя вина – я не пыталась понять дочь, не настраивалась на ее волну, не чувствовала. Но я не могла. Она мне не позволяла, прочертив границы своего личного пространства, за которые мне нельзя было заходить. С возрастом в Ксении стали проявляться совершенно чуждые мне черты, которые уже не просто волновали, а выводили меня из себя. Дочь оказалась черства душой. Она не умела жалеть – ни кошек, мерзших на улице, ни дворовых собак, ни детей, которые упали и плакали. Она останавливалась и внимательно их рассматривала. Ей было интересно, но не жалко. Если заболела я, Ксения уходила в свою комнату и ко мне просто не заходила. Она была уже достаточно взрослой для того, чтобы приготовить и принести мне чай, но сколько я ее ни просила, она этого не делала. Нет, она ничего не говорила. Просто игнорировала мои просьбы.

– Почему ты меня не пожалеешь? – спросила я.

– Я жалею, – спокойно возразила Ксения. – Просто не хочу от тебя заразиться.

Если я плакала, она тоже уходила – ей было неприятно видеть мои слезы. Позже я поняла – Ксении нужна своя территория, свой мир, в который она не пускала даже меня. И я с этим смирилась. Мы научились жить под одной крышей. Я не спрашивала, как у нее дела, что задали в школе, что ей нравится читать. И мне стало казаться, что она даже неплохо ко мне стала относиться. Потому что я «к ней не лезла». А я хотела «лезть», но с каждым годом это становилось все бессмысленнее. О чем я могла с ней поговорить? Как-то я возвращалась домой – лифт был сломан, и услышала, как Ксения разговаривает с нашей соседкой Эльвирой.

– Как мама себя чувствует? Что-то я давно ее не видела. Не болеет? – спросила Эльвира.

– Кто? – переспросила Ксения.

– Лелечка.

– Нет, не болеет, все хорошо.

Я застыла на лестнице. Неужели моя дочь не считает меня матерью? Я для нее Лелечка, как для всех остальных?

Нет, я себя не оправдываю. Наверное, я оказалась плохой матерью для Ксении. Но представьте себе, что вам достался ребенок, который не имеет с вами ничего, ничегошеньки общего. Он не просто другой, он чужой. Бывает же так, что встречаются люди, которые сразу, не сказав друг другу ни слова, чувствуют антипатию, не хотят общаться. Они сразу понимают, что не найдут общий язык, а если и вынуждены общаться, то прилагают к этому массу эмоциональных усилий. Так вот мы с дочерью были такими эмоциональными антиподами. Нам было проще сохранять дистанцию, чем сделать шаг навстречу друг другу. Да, я знаю, что она ребенок, а я взрослый человек и от меня зависела наша связь или ее отсутствие, но...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.